

РАЗГОВОР В КОМНАТАХ

КАРАМЗИН, ЧААДАЕВ, ГЕРЦЕН
И НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

КИРИЛЛ КОБРИН



Критика и эссеистика

Кирилл Кобрин

**Разговор в комнатах.
Карамзин, Чаадаев, Герцен и
начало современной России**

«НЛО»

2018

УДК [821.161.1:32]"18"
ББК 83.3(2=411.2)52-003

Кобрин К. Р.

Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России / К. Р. Кобрин — «НЛО», 2018 — (Критика и эссеистика)

ISBN 978-5-4448-0774-3

Новая книга Кирилла Кобрин — о том, как русское общество становилось современным; о формировании языка, на котором до сего дня обсуждаются важнейшие вопросы — политические, культурные, социальные, этические. В книге три главных героя — Николай Карамзин, Петр Чаадаев и Александр Герцен; благодаря их усилиям появилась сама возможность такого рода дискуссий. Они не только выработали язык, но и сформулировали основные темы — от отношения России к Европе до возможности «русского социализма». Иными словами, книга о том, как Карамзин, Чаадаев и Герцен делали Россию европейской. К. Кобрин — автор многих художественных и академических книг, редактор журнала «Неприкосновенный запас». Широко публикуется в российских и европейских изданиях. Его работы переведены на большинство европейских языков и на ряд восточных.

УДК [821.161.1:32]"18"
ББК 83.3(2=411.2)52-003

ISBN 978-5-4448-0774-3

© Кобрин К. Р., 2018
© НЛО, 2018

Содержание

Голоса в комнатах. Вместо предисловия	7
Глава I. Карамзин: в начале будущего	16
Разуметь друг друга	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Кирилл Кобрин Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России



Памяти С.А. Лурье

Голоса в комнатах. Вместо предисловия

Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услышать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного.

Лев Толстой. «Война и мир»

На первой картине мы видим анфиладу комнат большой квартиры – или даже усадьбы – первой трети XIX века. Собственно, комнат четыре; череда дверных проемов – все более узких и низких, как учит перспектива, – ведет наш взгляд сквозь, пока он не упирается в стену последнего из помещений. Впрочем, это не настоящая стена, а тоже дверь, но закрытая, причем перманентно, она превращена в своего рода украшение, в часть дизайна последней комнаты анфилады, к ней приставлена этажерка, населенная, насколько это возможно разглядеть в глубине картины, мелкими гипсовыми слепками классицистической скульптуры. На самой двери, похожей на алтарь, висят четыре картины, образуя крест, осеняющий этажерку, которая составляет как бы основание этого креста. Картины по бокам и сверху разглядеть сложно, в центре же – портрет мужчины. В предпоследней комнате у двери стоит коричневый комод, а во второй от нас комнате, буквально на пороге первой, отчасти загораживая перспективу, дверной косяк подпирает молодой человек в светло-серых панталонах, черном фраке с белым жилетом, черном же шейном платке и черных штитлетах. Прическа его, по моде конца 1820-х годов, с начесанным чубом. В руках молодой человек держит невероятно длинную курительную трубку, чашей вниз. Он скучает, его поза хорошо это передает.

Цвет стен чередуется с каждой следующей комнатой – темно-желтая (или светло-коричневая) сменяется серовато-голубой, потом снова темно-желтая, наконец – вновь серо-голубая. Все они, кроме той, что на первом плане, кажутся пустыми или хотя бы пустоватыми. Но в самой ближней к нам, той, где расположился невидимый нам художник с мольбертом, некоторая обстановка есть. Комод, тоже коричневый, но темнее того, что упомянут выше. Тяжеловесный, помпезный мраморный стол, сделанный в виде огромной напольной вазы. Рядом с ним стоит стул, чуть срезанный краем картины. Над ним – зеркало в деревянном окладе; оно почему-то отражает узкую полоску голубой стены, а также белую кирпичную печьку. Кажется, здесь художник допустил оплошность – зеркало должно отражать не выкрашенную в серовато-голубой следующую комнату, а противоположную желтую стену этой, на переднем плане. Остается предположить, что эксцентричный хозяин жилья выкрасил одну из комнат в разные цвета. Слева от распахнутых дверей – мраморная статуя Афродиты/Венеры, чуть меньше человеческого роста, на высоком постаменте. Как и положено, Афродита/Венера одной рукой стыдливо прикрывает обнаженную грудь, другой – чресла. На длинной стене, справа от распахнутых дверей висят пять картин (большой женский портрет, два небольших женских портрета, небольшой портрет мужчины, небольшой натюрморт), три белые фарфоровые тарелки с рельефом, на котором можно с трудом разглядеть человеческие фигуры, и светильник. У правого среза картины изображен угол то ли фортепьяно, то ли бюро с резными ножками. На него оперся еще один молодой человек. Он, склонившись, что-то внимательно читает: ноты? рисунок? газетную страницу? Молодой человек одет в серовато-голубые панталоны, чуть темнее цвета соседней комнаты, черный фрак, из рукавов которого выглядывают белоснежные манжеты, прическа такая же, как у его приятеля. У ног молодого человека сидит собака черно-белой масти и внимательно смотрит на него. На первый взгляд, если не изучить картину как следует, кажется, что молодой человек склонился к собаке и даже дразнит ее рукой. Но это не так. Все они замерли в своем спокойствии и молчании – два человека и одно животное. В комнатах стоит тишина. В них пустовато и скучно.

Капитон Алексеевич Зеленцов (1790–1845), художник-любитель и петербургский чиновник, нарисовал во второй половине 1820-х – начале 1830-х несколько картин под названием «В комнатах». Та, что описана выше, – не самая из них известная; в залах Третьяковской галереи большее внимание привлекает другая работа Зеленцова – на ней, отчего-то отдаленно напоминающей метафизическую пустоту жившего через сто лет де Кирико, представлены только две комнаты городской квартиры; персонаж там один, он сидит спиной к большому окну у противоположной стены, лицом к этой стене, в кресле у столика, и читает книгу. Зеленцов действительно любитель – его детали неуклюжи, а перспектива несколько искажена, однако эта живопись производит большое, огромное впечатление. Нужно только остановиться, всмотреться и подумать.

И на одной «В комнатах», и на другой много пустого пространства и, главное, стоит тишина. Перед нами жилые покои, но в них молчат. Учítывая, что Зеленцов изображал покои дворянские и чиновничьи, скорее всего – собственные или своих друзей и знакомых, то тишина царит именно там, среди этих людей, составлявших костяк Российского государства да и массовую базу правящего класса. Это люди образованные и с кое-какими средствами; это «общество» – в том значении слова, которое использовали русские писатели первой половины XIX века. Совсем не обязательно «высшее общество»; скорее «русским обществом» мы назовем *совокупность* разных обществ, от аристократического до мелких и средних чиновников, объединяющую людей с университетским образованием, которые либо служат, либо просто живут, занимаясь своими делами. Собственно, это целевая аудитория Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Сенковского, Гоголя, Одоевского, Тютчева, Бенедиктова, Баратынского, Булгарина, а чуть позже молодых Тургенева, Григоровича, Достоевского, Толстого и др. Удивительно, что они действительно молчат – по крайней мере на картине Капитона Зеленцова. Конечно, молчание это символично – точнее, мы принимаем это молчание за символичное, но они же говорили, черт возьми! Если да, то возникает вопрос – о чем.

Речь в этой книге пойдет о времени, предшествовавшем тому, когда все эти люди, «русское общество» как таковое, заговорили о себе, о своих проблемах, устремлениях, своем устройстве и своих идеалах. О прошлом, настоящем и – особенно – о будущем. Не применительно к отдельным людям – такой разговор был всегда, – а применительно к «обществу», «русскому обществу» целиком. Кто придумал язык, на котором такой разговор велся? Кто предложил и сформулировал темы для обсуждения? Как и когда пустые покои Капитона Зеленцова превратились в битком набитые, шумные комнаты, где витийствовали славянофилы и западники, нигилисты и либералы, социалисты и охранители? В конце концов, ведь описанный в «Войне и мире» вечер у Анны Павловны Шерер, где о политике *сплетничают*, точнее – сплетничают о «политиках» (царях, императорах, дипломатах) и международных делах, но дискуссий на общественно значимые темы не ведут, как-то сменился совсем другим типом разговоров, известным нам по прозе Тургенева, Достоевского и Чехова. Где черта между ними – и кто перевел русское общество через эту черту?

Об этом и пойдет речь ниже. Но сначала о том, где располагается тот социальный слой, что вдруг заговорил на общественно значимые темы во второй трети XIX века, между кем и кем он находился. И как он с соседями по социальной иерархии корреспондировал.

Над этим социальным слоем была власть – высшая бюрократия, придворная аристократия, царская семья, царь. Лет через двадцать после серии работ Зеленцова интерьеры жилых помещений принимает рисовать другой художник, уже профессиональный, академик акварельной живописи Иван Петрович Вольский (1817–1868). Впрочем, жилье тоже было несколько иным – интерьеры царского дворца в Михайловке близ Петергофа. Из этой серии – вторая картина, привлекавшая мое внимание. На одной из акварелей – странный кабинет. Большое окно эркера выходит в парк, оттого в комнате светло; впрочем, дальний правый ее угол темноват, так как свет там загораживает мощная колонна – часть своего рода прямоугольной

арки, отделяющей комнату от освещенного окном эркерного пространства. Предназначение комнаты не совсем понятно; чуть выше я назвал ее «кабинетом», но уверенности в том, что дело обстоит именно таким образом, нет. На «кабинетность» указывает разве что стол с письменными принадлежностями да большой коричневый кожаный портфель на одном из стульев. Не исключено, что кто-то из царской семьи, вернувшись во дворец, оставил его по пути в спальню или гостиную. Возможно, это был владелец дворца, великий князь Михаил Николаевич, в те годы – командир артиллерии гвардейских кавалерийских корпусов. Так или иначе, остальное убранство комнаты ничего не говорит о ее предназначении. На деревянном полу лежит большой ковер, у стены – кожаный диванчик и стул, еще два стула (один как раз с тем самым портфелем, на втором то ли подушка, то ли оставленная кем-то легкая светлая накидка) несут караул у высокого шкафчика со столиком и стеклянной дверцей; на столике – два флакона по бокам белого блюда, внутри шкафа висят миниатюры, стоит деревянный ларец и что-то еще. У стола – еще один стул, сбоку от него – кресло. Стол, как положено в те годы, покрыт зеленым сукном. На нем – скорее угадывается, чем можно разглядеть, – перья, чернильница, бумага; но достоверно можно утверждать, что там стоит несколько миниатюрных портретов. Собственно, изображенные там люди – единственные в этом помещении. Оно совершенно пусто. Пусто и в следующей комнате, куда приглашает наш взгляд распахнутая дверь. Но самое удивительное здесь другое. Стены увешаны огромными портретами собак: охотничьих, домашних, любых. Я насчитал их девять; собаки явно преобладают над человеческим – пусть и также чисто живописным – населением этой комнаты. Есть искушение сказать, что перед нами очень точный образ русской власти времен империи: довольно мещанский вкус, пустота, отъединенность даже от самой себя в собственных церемониальных и публичных репрезентациях (дворец находился даже не в Петергофе, а за его пределами) и, главное, явное недоверие к поданным. Романовы XIX – начала XX века (за некоторым, но важным исключением) готовы были окружить себя животными, но не людьми. Говорить в этих комнатах и не с кем, и не о чем. Станный мир замкнутых на себе заурядных людей, вынужденных править огромной державой. Общественные дискуссии и даже бури, принявшиеся бушевать в русском обществе в 1830-х, сюда не добирались; в комнатах, вроде изображенной Иваном Вольским, шла размеренная безмятежная жизнь, столь хорошо нам известная по дневникам Николая II. Оттого она и закончилась для них столь внезапно.

Если «русскому обществу» «наверху» – куда его, впрочем, почти и не допускали – было поговорить не с кем и не о чем, то вот с теми, кто был «внизу», с так называемым «народом» диалог наладить оно пыталось. Собственно, настоящая история России начиная с середины XIX столетия есть череда попыток с народом «поговорить», «установить контакт», «выучить его язык», «научить его своему языку», «создать некий общий язык», «говорить от его имени» – вариантов множество. Причем история эта не завершена до сих пор. Известный драматический разрыв между образованными сословиями и «народом» (сохранившийся даже после того, как «народ» смог получить наконец «образование») считался и считается основной проблемой, стоящей на пути к «нормальному» состоянию России, к ее внутреннему согласию. Этот сюжет был начат еще членами тайных обществ после Наполеоновских войн – да и вообще прогрессивными дворянами, которые принялись устанавливать «ланкастерскую систему» взаимного обучения нижних чинов, заводить школы в своих поместьях и т. д. Однако лишь со второй трети XIX века – отчасти в результате притока в ряды «образованных» представителей того самого «народа» – начались попытки именно «разговора», а не «просвещения» и «обучения». До того же дело обстояло примерно так, как блестяще описано Александром Герценом во введении к его книге «О развитии революционных идей в России» (1850)¹: «Крестьянин,

¹ Любопытно, что эта книга написана на французском для знакомства европейской публики с указанным в ее названии предметом – точнее для того, чтобы рассказать европейской публике о том, что «революционные идеи» в России вообще

живущий в этих домишках, – все в том же положении, в каком застigli его кочующие полчища Чингисхана. События последних веков пронесли над его головой, даже не заставив его задуматься. Это промежуточное существование – между геологией и историей. У этой формации свой особый характер, образ жизни, физиология, но нет биографии. <...> Заговорите однако с ним, и вы тотчас же увидите, закат ли это жизни или детство, варварство ли это, следующее за смертью, или варварство, предшествующее жизни. Но с самого же начала говорите с ним его языком, успокойте его, покажите, что вы ему не враг. Я очень далек от того, чтобы порицать русского крестьянина за его робость перед цивилизованным человеком. Цивилизованный человек, которого он знает, – это или его помещик, или чиновник. И крестьянин чувствует к нему недоверие, смотрит на него угрюмым взглядом, низко ему кланяется и отходит подальше; но он его не уважает. Он робеет не потому, что видит в нем существо высшего порядка, он робеет перед неодолимой силой. Он побежден, но он вовсе не лакей. Его суровый демократический, патриархальный язык не прошел науку передних. Мужественная красота его сохранилась нетронутой под двойным игом – царя и помещика». О «внутренне-колониальном» характере российской власти и русского общества в последнее время говорят немало; на первый взгляд, герценовская цитата лишь подтверждает это мнение. «Крестьяне» (Герцен по понятным причинам не мог использовать во французском тексте слово «народ») лишены «биографии», то есть «истории», они – в отличие от «цивилизованных» людей – находятся как бы вне ее, представляя собой скорее часть Природы (вечный «образ жизни», неизменная «физиология»), нежели Культуры. Оттого появление перед крестьянином представителя «общества» является актом освоения незаселенного пространства, событием столкновения Культуры и Природы. Все это не отменяет того, что у этой «Природы» (читай – «крестьянина») есть свой язык – его все равно не понять. Поют же птицы, мычат же коровы, режут же медведи! Однако не все здесь так просто. Дело в том, что Герцен не смотрит на крестьянина сверху вниз; с его точки зрения, народный язык, быть может, лучше и точнее, и вообще он более подходящий к условиям России, нежели тот, на котором говорят «образованные». Наконец, схема, предлагаемая Герценом, не дуальная, а тройная, то есть в ней три элемента, три участника. Это «царь», это «помещик» и это «крестьянин». Здесь совершенно не важно, что в данном случае первые два оказываются угнетателями третьего; между ними тоже пропасть. Эта пропасть возникла тогда, когда условный «помещик», «чиновник», «офицер» – точнее некоторые, но самые живые и энергичные из них – вдруг заговорили на каком-то новом языке, сильно отличаясь и от почти немолчавшего условного «царя» и от говорящего на языке почти природном условного «народа». И этот новый язык явился вместе с новыми темами, то есть с тем, что можно было бы назвать «общественной (а то и общественно-политической) повесткой». Комнаты Капитона Зеленцова зашумели, они наполнились людьми и голосами. Новый язык и его носители стали говорить не только за себя, но и за «царя» и за «народ» – в этом особенность русской общественной дискуссии, ее страсть к экспансии за свои социальные пределы, стремление стать как бы голосом для всей страны, объяснить ее себе и – особенно – молчащим (власти) и иноязычным (народу). Кто-то попытался принести жизнь в комнаты Ивана Вольского, а кто-то даже – и таких было больше – начать разговор с герценовским крестьянином, с «естественным человеком» новой русской истории. Появилась даже специальная социальная группа, интеллигенция, которая взяла на себя роль хранителя нового языка, его девелопера и его историка одновременно.

Но для того чтобы все это произошло, кто-то должен был создать этот язык, составить вокабуляр, разработать грамматику и синтаксис, придумать основные темы для разговора. Все это произошло до условного 1850 года, когда «общественная дискуссия» в России действительно стала важным фактором в развитии страны; чем дальше, тем больше она определяла ее

путь, пока не произошло ее окончательное торжество: серия революций с 1905 по 1917 год. В каком-то смысле, этот язык, эта общественная повестка, созданные к середине XIX столетия, тогда и победили, поглотив/подчинив себе обе как бы «безъязыкие» (по разным причинам) силы – «монархию» и «народ». Предваряемая настоящим введением книга – о троих людях, которые, по моему убеждению, сделали больше других, гораздо больше, даже почти все, чтобы и этот язык, и эта повестка, и общественная дискуссия в России появились. Хотя, конечно, двое из троих этих людей вовсе не хотели того, что получилось в XX веке, скорее наоборот.

Итак, герои книги: Николай Михайлович Карамзин, Петр Яковлевич Чаадаев и Александр Иванович Герцен. Если объединить хронологические рамки их жизней в одну, то «эпоха от Карамзина до Герцена» длилась почти сто лет, от 1766 (рождение первого) до 1870 года (смерть последнего). Конечно же, на самом деле началась она позже – с того времени, когда Карамзин стал культурным деятелем, то есть в конце 1780-х. Получается, что «эпоха от Карамзина до Герцена» полностью совпадает с эпохой европейских революций, от Великой французской (1789) до свержения Второй империи во Франции (1870) и (чуть-чуть не дотянув) Парижской коммуны (1871). Впрочем, последних двух событий Герцен не видел – он умер в январе 1870-го, за полгода до начала Франко-прусской войны, покончившей с режимом Наполеона III. Собственно, Герцен не дожил до первой настоящей пролетарской революции, что тоже хоть и случайно, но очень символично.

Хронологические рамки задают первую из важнейших тем этой книги. Язык русской общественной дискуссии, ее повестка исключительно сильно зависели от происходящего в Европе. А в Европе происходили революции. Период с конца XVIII века по последнюю треть XIX – время глубочайших потрясений, которые буквально втолкнули континент – а параллельно с ним Северную Америку да и некоторые другие части мира – в эпоху «современности», *modernity*, *modernité*, как определил, еще только обнаружив лишь некоторые черты ее, Шарль Бодлер. Русские историки используют понятие «модерность», чтобы избежать двусмысленностей, связанных с употреблением слова «современный» (на английский его можно перевести и как *modern*, и как *contemporary*). Как водится, сейчас много спорят об отношении России (и потом СССР) к «модерности» и «модернизации» – некоторые уверяют, что здесь происходил (и происходит) процесс «догоняющей модернизации», другие считают, что «модерность» не имеет одной образцовой формы (то есть условно западной), что российская/советская модерность есть один из равноправных вариантов. Несмотря на важность выбора между этими точками зрения, для нашей темы подобные споры представляют лишь отвлеченный интерес. Я исхожу из того, что *Россия становилась и стала частью «современного», «модерного» мира*. Появление и развитие в ней общественного мнения, выработка устойчивой общественно-политической повестки дня и общественной дискуссии с характерным только для нее языком – все это доказательства тому, причем не менее важные, нежели индустриализация, урбанизация или научно-технический прогресс. Так что отношение России к Европе в данном контексте – это отношение ее к модерному миру, а догоняла ли она паровозы современности или же сама следовала в том же направлении, но до поры до времени в запряженной лошадьми кибитке – вопрос отдельный.

Собственно, втолкнула Европу в «современность» Революция, точнее – сразу серия революций, политических, социальных, промышленных, научных и технологических. Индустриальная революция началась в Британии примерно тогда, когда в России родился Карамзин, однако она стала набирать обороты параллельно с началом первой и самой действительно значительной до 1917 года политической и социальной революции – Великой французской. Британская технологическая революция, связанная с использованием машин, парового двигателя, металлических и стеклянных конструкций и т. д., не только породила на этом острове революцию индустриальную, она перекинулась на континент и к середине XIX века была везде, в том числе – пусть и в значительно более скромных масштабах – в России. Вели-

кая французская революция (будучи отчасти детищем революции в североамериканских колониях Англии) растормошила континент; она и последовавшая за ней наполеоновская эпопея привели к решительной смене социальных, политических, экономических порядков, к смене, которую не смогли отменить победившие в конце концов контрреволюционеры. Переворот свершился – и после 1815 года «легитимным» континентальным режимам оставалось только припудривать лицо новой реальности, делая вид, что она все равно похожа на маркизов и маркиз славных времен *ancien régime*. Великая французская революция была разом политической, социальной и национальной; соответственно, она стала толчком и примером для последующих европейских революций, пусть они чаще всего были более, так сказать, «специализированными» – либо чисто «социально-политическими» (или даже просто «политическими»), как события 1830 и 1848 годов во Франции, либо «национальными» или даже «национально-освободительными», как революции 1848–1849 годов на территории Германии и Австрии (Венгрия, Италия и т. д.), поход «тысячи» Гарибальди в 1860–1861-м и польские восстания 1830–1831 и 1863 годов. Впрочем, продолжались и «смешанные революции», вроде тех, что в том же 1848-м вспыхнули в немецких землях Германии и Австрии. Никогда ни (естественно) до, ни после Европа не переживала такой революционной лихорадки. Меньше чем за 100 лет – чуть ли не десяток глубочайших потрясений². Из этих потрясений Европа и вышла «современной».

В России же – если не считать восстания декабристов и драматических событий в Польше – никаких революций и даже их попыток в этот период не было. Так что опыт становления «современности» русскому общественному мнению пришлось заимствовать. Подобные вещи для России вовсе не новы – начиная с Петра Великого процесс «перенимания и усвоения» европейского образа жизни, технологий, политического, административного и социального устройства, культурных достижений и целых институций шел постоянно. Собственно, и формирование языка общественной дискуссии началось с того, что в русском стали появляться иностранные заимствования, обозначающие вещи и идеи, которые перенимались – или имели быть воспринятыми. Поэтому первым героем нашей книги стал Николай Михайлович Карамзин, который внес больше всех прочих в этот процесс. Но это было только начало. Описывать и анализировать процесс становления «современности», «модерности» в Европе нужно было, находясь там, внутри нее, будучи если не участником, то хотя бы включенным наблюдателем происходящего. Конечно, все это произошло почти случайно, ненамеренно, так сложились обстоятельства – к примеру, Карамзин, отправляясь в мае 1789 года в большое европейское путешествие, не знал, что через два месяца там, куда он ехал, произойдет революция. Герцен, оказавшись в Париже в 1847 году, не мог предполагать, что станет свидетелем революции сначала Французской, а потом – оказавшись в Италии – еще и тамошней. Но случайности происходят со многими – и только наши герои сделали из своих перемещений по Европе³ именно те выводы, что оказались исключительно важны для русского общества.

Соответственно, второй важнейший элемент описываемого в этой книге процесса – состояние русского общества и русской культуры в период с конца XVIII века по середину XIX. Формирование нового общественного языка, общественной повестки и общественного мнения было бы невозможным – несмотря даже на все таланты и героические усилия Карамзина, Чаадаева или Герцена, – не будь русское общество готово к этому. Разговор на европейский лад в комнатах Зеленцова не имел шансов начаться, не существуя сами эти комнаты в известном нам виде, не будь они обставлены современной мебелью, такой же, как в Германии, или

² Я намеренно не упоминаю здесь революции на других континентах, ставшие результатом Великой французской. Они сыграли огромную роль – вроде Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке, – но в нашем случае мы вынуждены о них лишь упомянуть в примечании.

³ Когда Чаадаев путешествовал по Европе в 1823–1826 годах, революций там не было, но с ним произошла обратная история – он вернулся в Россию вскоре после подавления восстания декабристов, с некоторыми из которых он был близок. То есть он тоже получил опыт революции (хотя бы ее попытки), но революции «домашней» и революции им «пропущенной».

во Франции, или в Англии, не окажись в них всех этих псевдоантичных скульптур, бидермайеровых миниатюр, музыкальных нот, газет и прочих примет того, что еще недавно называли «цивилизацией». Конечно, и понятия, и некоторые общественно важные сюжеты были привезены/присланы из Европы русскими путешественниками Карамзиным, Чаадаевым, Герценом и многими другими – но судьба их сложилась совсем по-иному, нежели там, где они возникли. То, что русская культура, общество и российская власть «перенимали» на Западе, становилось не просто «своим», а «исключительно своим», поражая бывших бенефакторов особенностью и отдельностью. Как-то неловко повторять общие места, но явление Пушкина ровно через 100 лет после переизобретения России Петром продемонстрировало не что иное, как «европейскость» русской культуры и русского общества – привнесенный, навязанный своевольной властью новый способ отношения между «словами и вещами», неслыханный для Московской Руси, привел к появлению совершенно особой словесности, европейской и русской, очень глобальной и очень локальной одновременно. Эта словесность, названная позже «золотым веком русской литературы», легла в основу современной русской культурной идентичности – а ведь исток ее были чистое заимствование и импорт. Так вот, то, что происходило с русской словесностью в первой трети XIX века, во второй трети того же столетия стало свершаться в общественной мысли и общественном сознании. Карамзин создавал их новый язык и формулировал их повестку; Чаадаев напомнил о глубокой пропасти между Россией и Европой, тем самым заставив многих с большей энергией продолжить дело Карамзина; наконец, Герцен «вернул» Европе долг, став активным участником тамошнего революционного движения и преподнеся бывшим учителям русский вариант социализма. С этого момента Россия стала равноправным участником общественно-политических битв Европы – пока в 1917 году не превратилась, на несколько десятилетий, в их чемпиона.

Однако материальных примет Европы, ее «вещей» – стен, мебели, безделушек и объектов искусства – и даже европейских слов и европейских идей мало. Нужны те, кто обживет комнаты Капитона Зеленцова и начнет разговаривать там, то есть нужны люди, социальная группа или даже класс, заинтересованный в общественной дискуссии. Этот класс стал появляться в конце XVIII столетия – и Карамзин был его представителем. Сначала их мало – людей с высшим образованием, но ведущих частную жизнь, оставивших службу, а позже – и вовсе не служивших; но со временем таких становится все больше, и постепенно складывается кадровый резерв для пополнения новой сферы деятельности в России – общественно-политической, да и отчасти для уже существующей сферы, тесно переплетенной с общественно-политической, – культурной. Увы, еще одна банальность, не переставшая быть от своей общеизвестности истинной: до октября 1905 года, когда в Российской империи публичной политики не было, кроме той, что осуществляла и репрезентировала власть, людям с незаурядным общественным темпераментом было только два пути – в подпольщики и в литераторы; эти две области также нередко совпадали. Так что тут дело не только в одной из важнейших особенностей «модерности», в превращении «культуры» в «политику» в рамках нацстроительства и классовой борьбы, здесь еще и российская особенность, смешавшая все карты, оставив тем, кто хотел заниматься «чистым искусством», одной только изящной словесностью, лишь маргинальное место. Там и нашли приют Фет и Анненский. Только появление легальных политических партий, бесцензурной партийной прессы и избираемого парламента вернуло русской словесности возможность думать о себе как о деятельности возвышенной и не зависящей от злобы дня. Без Манифеста 17 октября 1905 года, к примеру, акмеизм как *литературное движение* был бы невозможен.

Эта книга состоит из трех глав; каждая из них посвящена одному из наших героев. Моей задачей не является ни сочинять их краткую жизненную или творческую биографию, ни давать обзор основных сочинений и идей. Еще менее книга претендует на то, чтобы быть солидным академическим исследованием, которое внесло бы вклад в карамзино-, чаадаево- или герценоведение. Цель ее совсем иная – на примере нескольких выбранных текстов (а порой даже

фрагментов), написанных героями книги, продемонстрировать, как их усилиями складывался язык общественной дискуссии и формировалась общественная повестка в России. При этом я старался не упускать из виду, что ни Карамзин, ни Чаадаев, ни даже Герцен не были целиком поглощены этим делом – они занимались разными вещами, более того, даже многое из того, что было ими сделано в этой области, сделано нерелективно и бессознательно. Но результат получился тот, который получился.

Я старался даже не «анализировать» избранные тексты и фрагменты, а скорее их внимательно, «медленно» прочесть, привлекая для понимания самый разнообразный материал из связанных с темой исторических и историко-культурных сюжетов. Так получилось, что большинство из привлеченных сюжетов – европейского происхождения; в этом смысле я иду по следам моих героев, как бы «привнось» Европу в Россию, с тем чтобы потом «вернуть» заимствованный материал уже в виде «русского влияния» на европейские дела. В каком-то смысле я не ждал особенно сенсационных результатов – почти все выводы, к которым я прихожу, так или иначе известны; однако проблема заключается в том, чтобы разместить как бы «известные» вещи в надлежащем порядке. И здесь возникает еще одна проблема.

Дело в месте Карамзина, Чаадаева и Герцена в русском литературном и общественно-политическом каноне. Этих авторов чтут (и поминают где положено), однако они, по разным причинам конечно, почти безнадежно потеряли сколько-нибудь серьезную актуальность. Иными словами, кроме специалистов и ничтожного количества энтузиастов, моих героев никто не вспоминает – разве что цитаты из них, выдернутые из контекста, понадобятся в пропагандистских целях. Причины действительно разные. Карамзина «губит» то, в чем оно особенно преуспел; создатель современного русского литературного языка, расцененного современниками как неслыханное покушение на традиции, сейчас считается автором настолько лингвистически- и интонационно-старомодным, что читать его неловко. Повесть «Бедная Лиза», которой Карамзин открыл новую русскую прозу, сегодня выглядит весьма наивной, и это ощущение автоматически переносится на другие сочинения автора, в том числе на «Письма русского путешественника». Что касается «Истории государства Российского», то о ней судят по оценкам современников и позднейших специалистов, а также по пересказам и цитатам. С Чаадаевым еще хуже. Он навсегда остался в популярной истории русской культуры как адресат знаменитого пушкинского стихотворения и сочинитель странных «философических писем», причем зачем-то на французском языке. Еще кое-кто помнит, что Чаадаева объявили сумасшедшим. Анекдот закрыл человека, личная биография (дружба с Пушкиным и проч.) мыслителя заслонила его мысли. С Герценом и того хуже. Семь десятилетий он провёл в официальных советских святках из-за того, что Ленин отчеканил знаменитое: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию». Этого нашего героя – несмотря на уважение многих неофициозных историков и литераторов в СССР – прочно поместили в ту же категорию, что и Чернышевского; Герцен стал героем анекдотов и объектом кислых шуточек и несмешных стишков. Оттого у этой книги есть еще одна, побочная (и скромная) задача: напомнить, что *на самом деле* Карамзин, Чаадаев и Герцен сделали для современной (во всех смыслах) России. Не «воскресить» их, как это принято в популярных книжках и медиа, предлагая переписать историю от и до в пользу несправедливо забытых, а именно «напомнить». Мои герои не нуждаются в воскрешении, они достаточно сильны, чтобы быть в своем праве.

На то, что эта книга не является академическим исследованием, указывает еще одно обстоятельство. Читатель не найдет длинных подстраничных библиографических ссылок и указаний на цитированные страницы. Все-таки я надеюсь сделать мое рассуждение читаемым для людей за пределами определенной области академического знания – в разумных рамках, конечно. Это значит, что основная библиография все же представлена, но в конце ее отдельным списком – для тех, кто захочет узнать о темах книги побольше. С другой стороны, будучи

историком по образованию и по склонности, автор строго относится к фактам – это значит, что все они (и цитаты тоже) тщательно проверены.

Я хотел бы поблагодарить Ирину Прохорову за – неожиданное для меня – предложение заняться историей российской модерности, а Андру Консте, Иеву Балодэ и Ивету Либергу за возможность провести четыре недели в Доме писателей в Вентспилсе и завершить эту книгу.

Глава I. Карамзин: в начале будущего

В полном одиночестве я сел в почтовую карету, имея при себе только чемодан да баул на крыше...

Гете. «Первое итальянское путешествие»

Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.

– Я думаю, – сказал он, – что республиканцу должно быть по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой свободой.

– Да, – ответил Прокопуранте, – хорошо, когда пишут то, что думают, – это привилегия человека.

Вольтер. «Кандид, или Оптимизм»

Разуметь друг друга

«В Потсдаме есть русская церковь под надзором старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: “Слава Богу! Слава Богу!” Он хотел сперва говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски. “Видно, что у нас на Руси язык очень переменился, – сказал он, – или я, может быть, забываю его”. – “И то и другое правда”, – отвечали мы». Описанная здесь встреча произошла 4 июля 1789 года, на втором месяце поездки Русского Путешественника (далее РП) по странам Европы. РП стартовал из Твери 18 мая того же года; если же считать началом путешествия пересечение границы, то это произошло только 1 июня, так как до этого РП перемещался, строго говоря, по территории Российской империи – Тверь, Санкт-Петербург, Дерпт, Рига. И, только оказавшись в Курляндском герцогстве, которому еще шесть лет оставалось быть независимым – хотя бы формально – государством, РП пишет: «Мы въехали в Курляндию – и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были обыкновенны». Собственно, в этих двух фразах содержится наиболее краткое, но вполне исчерпывающее описание того метода, что использован при написании отчета об этой поездке, занявшей больше года; отчет этот называется «Письма русского путешественника», и автором его является Николай Михайлович Карамзин. С этой книги начинается история русской прозы нового времени, история, имеющая начало и, слава богу, пока не имеющая конца.

Карамзин для русской словесности и общественного сознания был тем же, кем был Петр Великий для России вообще. И тот и другой сделали то, на чем мы до сих пор стоим. Что сделал Петр – известно всем; что сделал Карамзин – меньшему количеству людей, увы. Карамзин – это новый русский литературный язык, которым мы пользуемся до сих пор, это вид культурной и общественно-политической деятельности, именуемый «журналистикой» – в старом значении этого слова, то есть издание журналов, наполнение их текстами, формирование актуальной культурной и общественно-политической повестки дня, которая в этих журналах обсуждается. Карамзин написал первую русскую историю, ставшую событием в общественной жизни. Наконец, Карамзин сочинил «Бедную Лизу» – первый образец русской беллетристики, который можно счесть именно таковой, то есть «беллетристической», «изящной словесностью», тем, что

может заинтересовать не специального читателя из круга знакомых автора, а человека из определенной социальной группы. Когда пушкинская графиня из «Пиковой дамы» недовольно ворчит на предложение племянника принести ей русские романы – мол, а что, есть такие? – то она, в силу преклонного возраста, неправа. Такие были. К моменту написания «Пиковой дамы» – а никто, кажется, не считает это сочинение «историческим», то есть дело там происходит в начале 1830-х – «русские романы» существовали, и в не столь уж малом количестве; одну книжную полку средней длины они явно могли заполнить. Однако графиня живет совсем в другом времени. Вообще любопытно было бы посчитать, в каком возрасте она скончалась при столь романтических обстоятельствах. Мы знаем, что тайну трех карт открыл ей в Париже известный авантюрист граф Сен-Жермен, алхимик, путешественник, личность таинственная и скандальная. Так вот, Сен-Жермен бежал из Франции в 1760 году, после чего долго скитался по Европе, пока не умер, судя по всему, в 1784-м. Иными словами, графиня могла блистать в парижском обществе во второй половине 1750-х годов, в роскошные и разнузданные времена Людовика XV. Если ей было лет двадцать в, к примеру, 1759 году, значит, она родилась около 1730 года⁴. В 1833 году, когда Пушкин в Болдине сочинял «Пиковую даму», графине было почти 100 лет. «Русских романов», которые стала бы читать светская дама, не существовало ни когда ей было 20, ни 30, ни даже 40 или 50 лет. Карамзин сочинил «Бедную Лизу» в 1792-м – графиня, сверстница Екатерины Великой, к тому времени была уже сильно немолода и, видимо, так и не приучилась следить за новинками русской литературы.

Я подробно останавливаюсь на этой небезынтересной нумерологии только ради того, чтобы подкрепить очень нехитрую мысль: к началу 1790-х, когда Карамзин сочинял и публиковал «Письма русского путешественника», новая русская словесность (то есть та, что началась в новой России, созданной Петром) представляла собой весьма скромную по размаху (но не по качеству, конечно) область культурной деятельности, еще более скромно влияющую на общественную жизнь, на привычки и образ мысли той немногочисленной части русского общества, что владела грамотой и имела привычку и потребность читать. В этой словесности уже были крупные фигуры, от Ломоносова до Державина, от Тредьяковского до Фонвизина, однако она не стала еще важным элементом жизни России, не говоря уже о Европе – там ее вообще едва знали. Наконец, это была литература, состоявшая преимущественно из стихов и драматургии – но проза, этот хлеб словесности Нового времени, была в зачаточном состоянии. Она не покинула еще кабинет ученого или светский салон. Два главных в отечественной истории русских путешественника заставили прозу играть самую важную, присущую самой ее природе роль – роль медиума, с помощью которого общество говорит о себе. Первый, Александр Николаевич Радищев, совершил – скорее всего вымышленное – путешествие из Петербурга в Москву и напечатал отчет о нем в своей домашней типографии в 1790 году. Его судили, приговорили к казни, заменили казнь на десятилетнюю ссылку в Сибирь, тираж книги уничтожили и разрешили переиздавать ее только в 1905 (!) году. Вторым, Николай Михайлович Карамзин, юный знакомец Радищева, отправился в настоящее путешествие по Европе в мае 1789 года, после чего начал печатать отчет о нем – сначала в самом им издаваемом «Московском журнале», а затем – в альманахе «Аглая». Цензура не пропустила значительные куски травелога; в результате отдельным изданием «Письма русского путешественника» вышли в 1801 году,

⁴ Что, конечно, противоречит общеизвестному факту, что прототипом графини была Наталья Петровна Голицына, родившаяся то ли в 1741, то ли в 1744 году. Но тогда она не могла блистать в Париже и Версале одновременно с Сен-Жерменом, бежавшим в Англию в 1760 году. То есть могла, конечно, тогда взрослая жизнь, включающая игру в карты по-крупному, начиналась рано, однако дело еще в том, что замуж Наталья Петровна Чернышева вышла за князя Владимира Голицына в 1766 году. А у Пушкина молодой офицер Томский рассказывает собравшимся у конногвардейца Нарумова: «Приехав домой, бабушка, отлепляя мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить». Значит, муж у графини уже тогда, в Париже, до 1760 года был. В любом случае, даже если старая графиня родилась в 1744 году, ей было под пятьдесят, когда появилась первая русская проза, могущая привлечь ее рассеянное раздраженное внимание. То есть когда появилась проза Карамзина.

после смерти императора Павла I. Карамзина, к счастью, никто никуда не ссылал и ни к какому наказанию не приговаривал; более того, молодой царь Александр приблизил его к себе, сделал официальным историографом, а Карамзин, оставив всю свою литературно-журнальную деятельность, сосредоточился на сочинении «Истории государства Российского».

Оба этих отчета о путешествиях сыграли важнейшую роль в формировании общественного сознания в России. Радищевское сочинение стало настольной книгой многих декабристов – да и потом вошло в список обязательной для русского революционера и реформатора литературы. Карамзинский травелог имел весьма скромное прямое политическое воздействие, но именно он – первая настоящая европейская прозаическая книга в русской литературе. Более того, «Письма русского путешественника» ввели Европу в качестве важнейшего элемента русского общественного сознания – одновременно в каком-то смысле открыв русскую словесность для Европы. Русские гренадеры оказались в Европе во время Северной войны, имена русских авторов по большей части стали появляться в немецких и французских литературных и ученых разговорах и статьях с подачи Карамзина. Действительно, вслед за Петром Карамзин ввел Европу в Россию – и Россию в Европу.

В завершение нашего сравнения двух путешествий – очень важная деталь. Уже в середине XIX века читать «Путешествие из Петербурга в Москву» без специальных познаний в русской словесности предыдущего века – да и без соответствующей скидки – было невозможно. Тот, кого в советской школе мучили на уроках литературы словосочетанием «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй», меня поймут – хотя все это совершенно несправедливо в отношении несчастного Радищева. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй» – эпитафия к его сочинению, а не кусок текста, причем эпитафия, переделанный из «Телемахиды» Тредьяковского. Точно так же, кстати говоря, вся русская проза до Карамзина была не прозой, а переделанной поэзией (не считая, конечно, служебных жанров и эпистолярия, которые никто прозой не считал тогда). Книга Радищева закрывала детский период русской прозы; книга Карамзина сделала русскую прозу взрослой. Сегодня те, кто не утратил навыков чтения на человеческом, а не советско-постсоветском русском языке, воспринимают «Письма русского путешественника» безо всякого гандикапа, без скидки на почтенный возраст. Просто нужно дать себе труд внимательно и с уважением вчитаться.

«Бедная Лиза» была сочинена через два года после возвращения Карамзина из путешествия, и ее последующая читательская судьба совершенно иная, нежели у «Писем». В отличие от них «Лиза» стала сенсацией, нашла – по меркам тех времен, конечно, – массового читателя, после чего довольно быстро превратилась в литературный анахронизм. «Бедная Лиза» – важная веха в истории русской словесности, но веха *историческая*. В этом смысле она похожа на «Путешествие из Петербурга в Москву». «Бедная Лиза» – точка отсчета в истории новой русской беллетристики, без нее не было бы ни «Станционного смотрителя», ни «Бедных людей», ничего. Но это точка невозврата сегодняшнего читательского понимания. А вот другая точка, «Письма русского путешественника», манит к себе, в ней многое непонятно, актуально, да и просто интересно. Оттого первая глава нашей книги будет посвящена именно им.

Но до того как мы перейдем к «Письмам русского путешественника», еще несколько слов. Прежде всего: о «Письмах» написано немало – и еще гораздо больше написано о Карамзине. Я не намерен здесь давать краткое изложение этих исследований, отмечу лишь, что некоторые из них просто замечательны (например, книга Юрия Михайловича Лотмана «Сотворение Карамзина») – так что пересказ только все испортит. Ниже предлагается опыт современного прочтения «Писем», но исходя из их исторической ретроспективы и перспективы. Нас интересует то, что Карамзин предлагает русской публике в качестве тем для размышлений и обсуждений, как именно он формулирует эти темы, на что обращает внимание, рисуя образ «Европы», как ему удастся сделать свое путешествие не поездкой скифа Анахарсиса в Афины, где, в его представлении, находятся границы области пересечения двух множеств –

множества под названием «Россия» и множества под названием «Европа». В конце концов, Карамзин был одним из первых, кто задумался о возможности того, что это пересечение существует – и в нем только и может существовать то, что называют «общественным мнением». «Общественное мнение» формируется общественной дискуссией. Дискуссия бывает устная и письменная, вторая важнее – ибо отпечатывает суждения на бумаге, которую можно прочесть и передать другому. Карамзин не только писал в журналы, он их издавал. Он – следуя за примером Николая Ивановича Новикова – стал первой настоящей мануфактурой по производству общественного мнения в России. Карамзин заполнял пустоту, зияние на месте его отсутствия.

Второе обстоятельство менее заметное, но очень серьезное. О том, что РП не равняется Н.М. Карамзину, сказано немало. Это естественно – одно дело автор, другое – его герой. Более того, там было два путешествия, одно совершил Карамзин, другое РП; эти маршруты по большей части совпадают, но не полностью. Скажем, РП сидит в Женеве несколько месяцев, оставив о пребывании там не очень богатые свидетельства, а Карамзин, как считает, к примеру, Лотман, за это время успел сгонять в Париж и посмотреть на революцию в первом бурном переломе первой ее стадии. Это исключительно важная тема – но в нашем рассуждении мы ее не будем затрагивать. Нас интересует только то, что *было написано и было напечатано*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.